

нас, настаивая на своем праве изменять и переиначивать по своему усмотрению то, что было бы *иным* в отношении к *нашему*, к *своему* для нас.

Такую силу, которая в сущности занята тем, что перемещает все уже бывшее и существовавшее (в том числе и в литературе) из «его» прошлого в *наше настоящее* и добивается того, чтобы мы даже и то, что существовало в давно прошедшие времена, научились воспринимать и мыслить как относящееся к *нам* и в этом смысле *свое* для нас, пусть хотя бы и находящееся на самом далеком расстоянии от «нас», от этой точки «мы» или «я» (нашего сознания), от средоточия нашего мира, — я такую силу назвал бы силой *радикальной историзации* нашего сознания. Такая сила, видимо, и действует на протяжении длительного времени, захватывая одну жизненную область за другой.

Такая историзация настолько радикальна, чтобы последовательно и упрямо растолковывать нам, что мы с нашим сознанием, мы-сегодня, занимаем особое место в истории и по отношению к истории — это такое место, откуда в принципе видно все и доступно все; нет даже ничего такого непонятного и настолько непонятного, например, в истории культуры, что нельзя было бы «понять» — поэтому ко *всему когда-либо бывшему* мы начинаем относиться с презумпцией *потенциальной понятности*.

Такая историзация сознания настолько радикальна, чтобы ставить нас, нас-сегодня, на особое место в истории — на такое, где мы извлекаемся из истории, как протекала она до нас, зато все *историческое* вписывается в наше окружение, в наше окружающее: все и каждое — как всякий раз *свое* место в этой новой, по-новому понятой истории.

Такая историзация имеет мало общего с так называемым принципом историзма, который беспрестанно провозглашается в нашей науке, хотя она и предвидится этим последним. Этот принцип историзма только учил все ставить на свое место в истории («конкретно-исторически»), между тем как новый принцип историзации, радикализируя наше сознание истории, велит нам рефлексировать взаимосвязь нашего и чужого, своего и иного в едином пространстве истории — в пространстве *истории как окружающей*.

Прежний историзм преуспел в сведении своих задач к некоторой примитивности — все надо мыслить исторически конкретно, как если бы это было так просто и как если бы эта самая историческая конкретность не влекла за собой сугубую сложность, непроглядность и незавершенность отношений каждого *места* в истории с другими такими местами: нет, однако, ничего такого, нет и такого культурного явления, которое ограничилось бы тем, чтобы спокойно и мирно расположиться на своем историческом месте, — всякое нет несет *на себе* и *в себе* ту взаимосвязь, которую только из осторожности нельзя назвать взаимосвязью целого, ибо последнее — целое (культурной) истории — нам безусловно *не дано* и *не доступно*. Нет, всякое культурно-историческое явление, даже самое замкнутое в себе и не ведающее ничего об *иных* языках культуры, тем не менее, как оказывается, *помещено* в ту историю культуры, которую именно «нам» выпало теперь на долю собирать в единое духовное пространство.

Радикальная историзация нашего сознания означает, далее, и то, что *всякая наука есть своя история*. По крайней мере и прежде всего — всякая наука о культуре.

То, что наука — это ее история, более открыто школой Гегеля; однако именно это и постаралось наиболее основательно «закрыть» то направление, которое стояло у начал этого открытия: не закрывать означало бы радикально переосмыслять себя (и свой историзм), продолжая движение в ту же открывшуюся сторону. Теперь же смысл, который мы можем вкладывать в это положение — наука есть ее история, — *иной* по сравнению с тем, какой мог вкладывать в него эволюционно мысливший XIX век. *Наш* смысл (тот который предлагается нам сегодня) для нас загадочнее и непонятнее уже потому, что он обращен в будущее и нам еще только предстоит удостовериться в том, что он нам с собой несет.